

Созерцание. Франц Кафка

Посвящается М. Б. (Максу Броду)

Дети на улице

Я слышал, как вдоль садовой решетки проезжали экипажи, иногда сквозь прорезь листвы, слабо колышущуюся, мне удавалось их видеть. Как громыхали на жаре их оглобли и спицы! С полей возвращались, бесстыдно посмеиваясь, рабочие.

Я сидел себе на наших качельках в родительском саду, посреди деревьев.

А за решеткой что-нибудь да происходило. Ребяшня пробегала, телеги со снопами, на которых сидели жнецы и жницы, погружали в тень наши клумбы; под вечер, я видел, прошествовал какой-то господин с тросточкой, навстречу ему шли девочки, держась друг за дружку, поздоровавшись, они посторонились, сойдя на траву.

Потом вдруг прыснули вверх птицы, я проследил за ними глазами, а они так резко взмыли, что мне почудилось, что это не они вверх, а я лечу вниз, и я ухватился покрепче за веревки качелей, и слегка покачнулся. Потом стал раскачиваться сильнее, когда уже повеяло прохладой и вместо птиц в небе обозначились дрожащие звезды.

При свечах я получал свой ужин. Нередко я ел свой бутерброд, водрузив от усталости локти на стол. Рваные занавеси колыхались на теплом ветру, иной раз их подхватывал кто-нибудь из прохожих, если хотел получше рассмотреть меня и поговорить со мной. Свечи чаще всего не хватало надолго, и в оставшемся от нее чаде какое-то время еще кружились мошки. Если с улицы ко мне обращались с вопросом, я смотрел на спрашивающего так, будто смотрю в пустоту или на горы, да и он, по видимости, не был особенно-то заинтересован в ответе.

А залезал кто-нибудь на подоконник, чтобы сообщить, что все уже у самого дома, я тогда, конечно, со вздохом поднимался со стула.

— Нет, а чего это ты вдруг развздыхался? Что случилось? Что-то и впрямь ужасное, чего не исправить? Отчего мы не придем в себя? Что, все так безнадежно?

Ничего не случилось. Мы выбегали им навстречу.

— Наконец-то вы, слава богу! — Вечно ты опаздываешь! — Почему вдруг я? — Ты, ты! Сиди себе дома, если не хочешь с нами. — Немилосердно! — Что, что? Немилосердно? Что ты несешь?

Мы прорывали головами занавес вечера. Не было больше ни дня, ни ночи. То мы терлись пуговицами друг о друга, то бежали на отдалении, как животные в пустыне, огнедышащие. Как кирасиры в былых битвах, вздымаясь повыше, мы гнали друг друга вниз по переулку, а затем, разогнавшись, и вверх по улице, что вела из города. Кое-кто взбирался на рвы и, едва растворившись в кустах, они тут же оказывались на верхней дороге и, как чужаки, поглядывали сверху на нас.

— Давайте сюда, вниз! — Нет, это вы давайте наверх! — Это чтобы вы нас сбросили вниз, нет уж, поищите себе дураков! — А, трусили! Так бы и сказали! А нет, так давайте сюда! — Чего, чего? Это вы-то нас сбросите? Вот бы посмотреть!

Мы шли в атаку, нас сталкивали ударами в грудь, мы скатывались на траву в канаву и делали это в охотку. Трава была ни холодной, ни теплой, приятной, и ничего, только усталость.

Стоило повернуться на правый бочок да подложить руку под ухо, как хотелось заснуть. Хотелось, правда, и снова встрепенуться, воспрянуть, но тогда тут же тянуло упасть в канаву еще глубже, потом снова встрепенуться, укрепившись ногами и растопырив руки против ветра, — и снова упасть еще глубже. И так без конца.

О том, чтобы по-настоящему расположиться на ночлег, подогнув коленки, мы не думали, а просто лежали на спине в самом низу канавы, чуть не плача, словно от боли. Приходилось зажмуривать глаза, когда те, что сверху, перепрыгивали через нас из кустов.

Луна была уже высоко, в ее лучах проезжала почтовая карета. Постепенно нарастал ветерок, он чувствовался уже и во рву, а в недалеком лесу начинали шуметь деревья. Тут уж неумоготу быть в одиночку.

— Вы где? — Давайте сюда! — Идите все! — Ну, чего ты прячешься? Не дури! — Видали, уже проехала почта! — Не может быть! Уже проехала? — Ну да, пока ты дрыхнул, она и проехала. — Я дрыхнул? Ну ты даешь! — Молчал бы лучше, по тебе-то видно. — Перестань. — Пошли!

Назад мы бежали кучкой, некоторые держась за руки, невольно задирая головы как можно выше, потому что дорога шла круто вниз. Кто-нибудь издавал воинственный индейский клич, и тогда ноги сами пускались в галоп, а ветер подхватывал нас снизу. И не было нам препятствий, и, даже обгоняя друг друга, мы могли бежать со скрещенными руками, оглядываясь назад.

На мосту над ручьем мы останавливались; те, что забежали слишком далеко, возвращались. Вода внизу билась о камни и корни, как будто и не во тьме. Не было причин не забраться на перилы моста.

Из дальних кустов выезжал поезд по железной дороге, все купе были освещены, окна опущены для надежности. Кто-нибудь запевал что-нибудь поскабрезнее, и мы дружно подхватывали. Мы пели быстрее, чем мчался поезд, мы размахивали руками — одного голоса было мало, а от слияния голосов хорошо делалось на душе. Стоит смешать свой голос с чужими, как словно бы попадаешь на крючок удилища.

И мы пели — лес позади, а в ушах дальний поезд. Взрослые в деревне еще не спали, матери стелили на ночь постели.

Пора. Я чмокнул того, что оказался поближе, остальным троем сунул руку и пустился вприпрыжку назад. Никто меня не окликнул. За первым перекрестком, когда они не могли уже меня видеть, я снова свернул на полевую дорогу и побежал в лес. Хотелось добежать до городка, что на юге, о котором в нашей деревне всегда говорили:

— Вот уж где люди, так люди! Они никогда не спят, вы только представьте.

— А почему так?

— Не устают.

— А почему не устают?

— Потому что дурачье.

— А что, дурачье не устает, что ли?

— Как может уставать дурачье?

Разоблачение шаромыжника

Наконец-то часам к десяти вечера добрались мы с человеком, которого прежде я едва знал, но вот ведь — как-то невзначай прицепился и таскал меня по улицам часа два, к дому, в который я был зван.

«Итак!» — сказал я, потирая руки и давая тем ясно понять, что пора расставаться. Не столь прямые намеки я делал и раньше. А теперь уж я валился с ног от усталости. «Вы уже хотите подняться?» — спросил мужчина. Во рту его я различил звуки, похожие на зубовой скрежет.

«Да».

Ведь я был приглашен, о чем сразу ему сказал. Но я был приглашен наверх, в квартиру, где уже с радостью бы очутился, вместо того чтобы торчать тут, у ворот, поглядывая мимо ушей своего визави. А теперь вот еще и молчать, будто мы намерены стоять здесь бог знает сколько. И дома вокруг, и звезды над нами сразу же присоединились к этому молчанию. И шаги незримых прохожих, чей путь не было никакой охоты узнать, и ветер, то и дело клонившийся на ту сторону улицы, и граммофон, что-то певший в какой-то из комнат, — все они предавались молчанию, будто давно и навсегда ими завладевшему.

И спутник мой всему этому подчинился — от своего и — после улыбки — как бы и моего имени тоже, протянув руку вдоль кирпичной стены и вытянув лицо свое с прикрытыми глазами.

Но эту улыбку его я не досмотрел до конца, ибо внезапный стыд заставил меня отвернуться. Только по этой улыбке, стало быть, я догадался, что передо мной шаромыжник, и ничего больше. А ведь я уже месяцы обитал в этом городе и на них насмотрелся, на шаромыжников, что выкатываются по ночам из переулков нам навстречу, растопырив руки, как зазывалы, что прячутся за афишными тумбами и одним глазком подглядывают оттуда за нами, а на перекрестках подстерегают нас, усталых, заслоняя весь тротуар! А ведь я знал их как миленьких, они были первыми моими знакомцами в городе, в разного рода пивнушках; им был я обязан знанием той неотступности, что казалась мне теперь уже свойством самой земли, что вошла теперь внутрь и меня самого. Вот они — опять перед вами, хотя вы вроде бы давно от них убежали, хотя им нечего вроде бы больше ловить! Ни сесть, ни лечь они не хотели, но неотступно маячили как ваньки-встаньки перед вами, убеждая и склоняя вас даже издали одними глазами! Действуя всякий раз одинаково: они застили нам дорогу, стремясь не пустить нас туда, куда нам было нужно, предлагая нам взамен жилище в своей груди, а взмучив в нас вихревые какие-то чувства, принимали их за готовность к объятью, утыкаясь в нашу сторону своими носами.

Все эти проделки я распознал наконец и теперь, после столь долгого совместного пребывания. Я чуть не содрал себе ногти от позора, который хотелось скрыть.

Однако спутник мой стоял себе как ни в чем не бывало, как истый шаромыжник, и улыбка самодовольства розовела у него на небритых щеках.

«Дошло!» — воскликнул я, слегка хлопнув его по плечу. И поспешил по лестнице наверх, негаданно радуясь столь бесконечно преданному выражению лиц прислуги в передней. Я оглядел их всех поочередно, пока с меня снимали пальто и смахивали пыль с обуви. Потом, вздохнув с облегчением и выпрямившись во весь рост, я ступил в гостиную.

Внезапная прогулка

Бывает, окончательно решишь остаться вечером дома, облачишься в халат, после ужина сидишь себе за освещенным столом, собираясь предаться по обыкновению работе или игре, после которых положено на боковую, да и за окном погода такая, что собаку из дома не выгонишь, к тому же сидишь долго, уютно, так что всех бы удивило, если б теперь встал вдруг и вышел, ведь и в подъезде уже темно и ворота заперты, и все-таки совершенно внезапно что-то находит, и встаешь, и, одевшись для улицы, заявляешь, что тебе нужно идти и, наскоро простившись, выходишь, хлопнув дверью и породив обиду оставшихся, большую или меньшую, это уж по тому, с какой силой хлопнул, и вот оказываешься снова на улице, испытывая ту особую легкую подвижность во всех членах, благодарных за то, что предоставил им такую неожиданную свободу, ощущая в себе радость решимости и понимая, что сил-то у тебя поболее, чем необходимости что-либо менять, и с этим всем все идешь и идешь по нескончаемым улицам — и осознаешь тогда, что вырвался из семейных пут целиком, превратив их в пустяковое дело и возвысившись над ними, став самим собой, твердым, почерневшим от испытаний, быстроногим, парящим. А для пушного торжества еще и заглянешь к приятелю — взглянуть, как там он.

Решительности

Встряхнуться-то от нуды сил достанет, надо только захотеть. И так, вскакиваю с кресла, обегаю стол, кручу головой, разминаю шею, в глаза подбрасываю огоньку, напрягая вокруг них мускулы. Придаю сил всякому чувству, набрасываюсь с приветствиями на А., стоит ему войти, терпеливо любезничаю с Б. в моем кабинете, затычными глотками впитываю в себя, как ни болит и свербит, все, что внушает мне В.

Но даже если все идет так славно, всякая ошибка, а они неизбежны, вдруг обрывает, останавливает течение всего, и легкого, и тяжелого, возвращая меня на круги своя.

Потому-то не придумано лучшего, чем принимать все как есть и, не искушая себя лишним шагом, даже если тебя куда-то вроде как сдуло, не обинуясь глядеть на всех тяжким звериным глазом, давить собственноручно всякую остатную тень жизни, то есть самому множить посылно последний загробный покой, чтобы ничего-ничего, кроме него, не осталось.

Показательный жест этого состояния — провести мизинцем по брови.

Прогулка в горы

«Не знаю, — вскричал я немыми губами, — я же не знаю. Не придет никто — значит, никто не придет. Я никому не сделал зла, никто мне не сделал зла, но никто не хочет мне и помочь. Совсем никто. Но все и не так. Просто никто мне не помогает, — а то бы Никто был просто прелесть. Я бы хотел — почему бы и нет — совершить прогулку в компании таких вот Никто. В горы, конечно, куда же еще? Как они сбиваются гурьбой, все эти Никто, как заплетают друг в друга свои ножки и ручки, как семянят! Все, разумеется, во фраке. Идем себе налегке, продуваемые ветром там, где от наших тел остается зазор. А глоткам в горах так свободно! Чудно, что мы не поем».

Холостяцкое несчастье

Кажется, какая тоска оставаться холостяком, под старость, тужась сохранить достоинство, напрашиваться в гости, если хочется провести вечер с людьми, а заболев, разглядывать пустые углы своей комнаты, забившись в угол постели, прощаться всегда у ворот, никогда не подняться по лестнице вместе с женой, видеть у себя в доме только те двери, что ведут в чужие квартиры, нести домой в руке своей что-то на ужин, поглядывать на чужих детей, всякий раз в бездетности своей робея признаться, одеваться и вести себя так, как подсмотрел у двух-трех холостяков, увиденных в юности.

Все так и будет, с той только разницей, что в действительности-то будет у тебя и настоящее тело, и голова, а на ней, стало быть, лоб, по которому надо бы стукнуть.

Коммерсант

Вполне возможно, кто-то и сочувствует мне, да я-то этого не замечаю. Маленькое мое дельце так напрягает меня, до боли во лбу и висках, не обещая и впредь облегчения, потому что дельце мое маленькое.

Мне ведь надо дать распоряжения на часы вперед, пресечь забывчивость служки, упредить промашки, угадать моду следующего сезона, да не ту, среди людей моего круга, а в массе далековатого от нас сельского населения.

Деньги мои в руках чужих людей; их обстоятельства для меня непрозрачны; опасности, которые могут их подстеречь, мне неведомы — как же мне их избежать! Может, они сорят сейчас деньгами где-нибудь в трактирном саду, а другие тем временем удирают с деньгами в Америку.

А вечерами, когда контора уже закрыта и передо мной пустые часы, свободные вроде бы от забот о деле, та широченная тревога, что поселилась во мне с утра, настигает меня новым приливом и, не удержавшись во мне, утаскивает меня за собой.

И все-таки я не могу поддаться этому настроению, а могу только идти домой, потому как и лицо, и руки мои потны и перепачканы, одежда в пятнах и пыли, конторский берет на голове и ботинки исцарапаны окантовкой посылок. И я иду, как плыву по волнам, пощелкивая пальцами обеих рук, а детишек, что попадают на пути, глажу скольльзящим движением по головам.

Но путь мой недалний. Вскоре я уже дома, открываю дверь лифта, вхожу.

И вижу, что я теперь вдруг наедине с собой. Другие, те, что поднимаются по лестнице, устают немного и, запыхавшиеся, ждут, пока им откроют дверь, сердясь при этом и раздражаясь, потом снимают в передней и вешают свои шляпы, и, пройдя мимо ряда стеклянных дверей, попадают наконец в свою комнату, где и оказываются тоже наедине с собой.

А я сразу остаюсь в одиночестве, уже в лифте, где разглядываю себя в узкое зеркало, подперевшись коленкой. Когда лифт начинает подъем, я говорю: «Тихо вы, отойдите, вам что, хочется в тень деревьев, под сень листвы, что там, за портьерами?»

Говорю я одними зубами, а перила лестниц стекают вниз мимо матовых стекол, как водопады.

«Улетайте; пусть ваши крылья, которых никогда я не видел, унесут вас вниз в деревню, или в Париж, если вам это угодно.

Но полюбуйтесь сначала видом из окна, когда со всех трех улиц движутся процессии навстречу друг другу и, не уклонившись, сквозь друг друга протекают, высвобождая в конце последних рядов снова пространство. Машите платками, возмущайтесь, плачьте, делайте комплимент даме, что проезжает мимо в карете.

Ступайте через речку по деревянному мосту, кивая купающимся внизу детям и дивясь тысячегласным крикам „ура“ матросов с

Броненосца на рейде.

Преследуйте невзрачного человечка, и, затолкав его в подворотню, ограбьте его, и смотрите ему вслед с засунутыми в карманы руками, когда он понуро бредет и сворачивает за левый угол.

Галопирующая поврозь на своих лошадках полиция разгоняет вас, едва сдерживая животных. Пусть их, от пустых улиц им самим сделается тошно, уж я-то знаю. Вот они и пустились прочь, видите, попарно, замедляя на углах и ускоряя на площадях скаканье».

А там уж мне пора выходить и, отправив лифт вниз, звонить в дверной колокольчик да здороваться с девушкой, открывающей дверь.

Рассеянный взгляд в окно

Что же нам делать весенними днями, которые теперь наступают? Сегодня утром небо было серым, а подойти к окну теперь — разве не диво, так и прильнешь щекой к металлу ручки.

Внизу заметишь луч заходящего солнца на лице девчушки, что оглядывается, спеша, и сразу же накрывает ее тень догоняющего ее мужчины.

А там мужчина уже впереди, и девичье личико вновь осветилось.

По пути домой

Посмотрите, какова сила убеждения воздуха после грозы! Все заслуги мои сами собой выплывают и завладевают мной тогда, как бы я ни сопротивлялся.

Я марширую, и темп моего марша есть темп этой стороны улицы, этой улицы, этого квартала. Я по праву в ответе за все двери, за столешницы, за тосты пьющих, за любовные пары на их кроватях, в коробках новостроек, в темных подворотнях у брандмауэров, на оттоманках в борделях.

Я ценю и прошлое свое, и будущее, находя и то, и другое превосходным, не отдавая преимущества никому, только сетуя на несправедливость прозрения, осыпающего меня своими дарами.

Лишь ступив в свою комнату, я слегка погружаюсь в раздумья, не найдя, впрочем, пока поднимался по лестнице, достойного для раздумий предмета. Я открываю окно, а в саду играет музыка, но не очень-то все это мне помогает.

Пробегающие мимо

Когда гуляешь ночью, по улице, а навстречу бежит человек, которого видишь издалека, потому как улица наша вздымается вверх и светит луна, то ведь не станешь на него нападать, даже если он хляк и оборванец, даже если за ним кто-то бежит что-то крича, мы все равно уступим ему дорогу.

Потому как ночь и не нами установлено, что улица поднимается в гору и светит луна, а кроме того, может, эти двое разгорячились в споре, может, они преследуют кого-то третьего, может, первый из них невиновен, может, второй хочет убить, и мы станем совиновниками убийства, может, эти двое ничего не знают друг о друге, и каждый из них бежит на свой страх и риск к себе в постель, может, это сомнамбулы, может, первый вооружен.

И в конце-то концов, разве не могли мы за день устать, разве мы не выпили много вина? И мы рады, когда и второй исчезает из виду.

Пассажир

Я стою на платформе трамвая и полон неуверенности, что касается моего места в мире, в этом городе, в семье. Даже и близко не мог бы я определить свои претензии на какое-либо место хоть в чем-то. Не могу и то защитить, будто я стою тут, на платформе, держусь за скобу, будто еду в трамвае, перед которым разбегаются люди или тихонько идут себе мимо или сидят у окна. Да никто и не требует этого от меня, но не в том дело. Трамвай приближается к остановке, девушка застыла у дверей, готовясь на выход. Она видится мне четко-четко, словно я ошупал ее. Она вся в черном, складки юбочки почти неподвижны, блузка тесновата и с белыми мелкими кружевами на воротничке, левым плечом она привалилась к стенке вагона, в правой руке — зонтик, упирается на вторую ступеньку. Лицо смуглое, сверху нос слегка приплюснут, книзу — округлен и расширен. Волосы пышные, каштановые, на правом виске непослушная прядь. Ушко прижато к головке, но я-то стою к ней близко и поэтому вижу всю тыльную часть ушной раковины и тень у основания.

Я еще спросил себя, отчего это она не поражается сама себе, отчего молчит, не скажет про это?

Платья

Нередко, глядя на платья со всякими там складочками, рюшками да оборками, красиво прилегающие к красивому телу, я думаю о том, что ведь они недолго останутся в таком виде, скомкаются и помнутся, покроются пылью, которая забьется в складки так, что ее не выбьешь, и какая будет печальная и смешная картина — каждое утро надевать такое платье и каждый вечер его снимать.

Тем не менее, я каждый день вижу девушек, которые, пожалуй, прекрасны с их прелестными округлостями, свежей кожей и пышноволосыми кипами, и все же каждый день являются в этом маскараде, каждый день, стоя перед зеркалом, погружают одно и то же лицо в одни и те же руки.

Только иной раз поздно вечером, вернувшись с вечеринки и заглянув в зеркало, они понимают, насколько изношено, обвисло, пропылилось их платье, в котором и показываться-то больше нельзя.

Отказ

Если, встретив красивую девушку, я говорю ей: «Пожалуйста, пойдем со мной», а она молча проходит мимо, то она этим хочет сказать: «Ты не принц звонкого рода, не квадратный американец индейской стати с глазами, покоящимися на чашечках весов, с кожей, отмассированной ветром лугов и пересекающих их протоков, ты не совершил путешествий к Великим озерам, которые я даже не знаю, где отыскать. Так что, миленок, чего это вдруг я пойду с тобой?»

«Не забудь, тебя ведь не раскачивают по улицам рессоры автомобиля, и нет вокруг тебя свиты в тесных костюмах, точнехонько выстроенной позади тебя и бормочущей тебе комплименты; и хотя груди твои ладно поддерживаются корсетом, но ягодицы и бедра расплываются за воздержание; и платье на тебе из тафты с плиссировкой, радовавшее нас еще прошлой осенью, но рискованное теперь, так что и тебе не до улыбок».

«Да, мы оба правы, и чтобы остаться до конца при своем, не лучше ли каждому идти своей дорогой домой».

Памятка для всадника

Собственно, ничто не побуждает человека первенствовать на скачках.

Желание прослыть первым всадником страны настолько заглушают звуки оркестра, что наутро неизбежно раскаяние.

Зависть соперников, этих коварных и влиятельных богачей, не может не причинять нам боль, пока мы зажаты на старте, пока не вырвались на свободное пространство, обогнав других, тоже поспешающих к горизонту.

Многие из поклонников наших поспевают к окошечкам касс за своим выигрышем. Однако близкие наши друзья поставили на другую лошадь, чтобы не досадовать на нас, если мы проиграем, и теперь, когда наша лошадь пришла первой, а они ничего не получают, отворачиваются от нас, когда мы проходим мимо, предпочитают смотреть куда-то вдаль, на трибуны.

Конкуренты, оставшиеся позади, держатся крепче в седле, показывая, что им все нипочем, их бодрость — залог того, что будут новые скачки и посерьезнее, чем сегодняшней детский сад.

Многие дамы находят смешным победителя, который и сам не знает, что ему делать со всеми этими пожиманиями рук, салютовкой, раскланиванием, помахиванием тем, кто подальше, в то время как соперники, стиснув зубы, только слегка похлопывают по холке своих лошадей.

А под конец и вовсе с посеревшего неба начинает сыпать дождик.

Уличные окна

Кто живет одиноко и все же норовит иногда к кому-нибудь присоединиться, кто хотел бы во всей этой сумятице дня, непогоды, служебных дразг и прочего запросто опереться на любую руку, что подвернется, тот не сможет обойтись без окна на улице. И даже если ему не до того и он, усталый, просто так облокачивается на свой подоконник, чтобы, откинув голову, невзначай поводить глазами то на публику внизу, то на небо, все равно несущаяся упряжь внизу увлекает его за собой в глубь человеческого единения.

Желание стать индейцем

Эх, быть бы индейцем, всегда начеку, да на коне, вздрагивающем на лету, над подрагивающей землей, не пришпоривая, потому что нет шпор, отбросив поводья, потому что нет поводьев, и видеть перед собой один только ровный, скошенный луг, и ни гривы коня, ни головы коня, ничего.

Деревья

Ибо мы как бревна под снегом. Лежат себе вроде рядком, так что без труда можно их сдвинуть. Но нет, не удастся, потому как они накрепко связаны с землей. Но и это одна только кажимость.

Быть несчастным

Когда совсем уже стало невмоготу — как-то в ноябре под вечер — и я забегал в своей комнате по ковровой дорожке, как по трассе; то к окну, то, напуганный бликами улицы, бежал от окна прочь и в глубине зеркала снова обретал свою новую цель, и вскрикивал, чтобы только слышать свой крик, которому нет ответа, но нет и препятствий, который поэтому делается все сильнее и оборваться не может, даже если умолкнет, — тут вдруг разверзлась в стене дверь с уместным рывком, так что даже кони в упряжке внизу на мостовой заржали так, будто понеслись в битву.

Малым призраком выкатился из черного, еще не освещенного лампой коридора ребенок и застыл, стоя на цыпочках, на незаметно покачивающейся половице. Слепленный темнотой комнаты, он хотел было спрятать лицо в свои руки, но вид улицы его сразу же успокоил, ведь свет, взъяренный уличными фонарями, мягко с: глился на дне темноты. Опершись правым локтем на открытую дверь, он стоял у стены комнаты, подставляя ветерку из окна свои ноги и шею, и голову.

Я немного помедлил, потом сказал «Здравствуй» и снял с ширмы перед печью свой пиджак, чтобы иметь более приличный вид. Рот какое-то время был у меня полуоткрыт, чтобы через него могло выйти мое волнение. Там и так скопилась нехорошая слюна, а на лице отчего-то дергались веки, словом, только визита мне сейчас не хватало.

Ребенок стоял по-прежнему у стены, о которую опирался правой рукою, видно, ему доставляло удовольствие, что грубо покрашенная

белой краской стена слегка красяла ему пальцы. Я сказал: «Вы и впрямь хотели ко мне? Не ошиблись дверью? В этом доме легче легкого заблудиться. Меня зовут так-то, я живу на четвертом этаже. Все верно? Я тот, кого вы хотели посетить?»

«Будьте покойны, — бросил мальчик через плечо, — тут нет ошибки».

«Тогда проходите в комнату, я закрою дверь».

«Дверь я уже закрыл. Не беспокойтесь. И вообще не волнуйтесь».

«Не говорите о беспокойстве. Но в этом коридоре живет много людей, со всеми я, конечно, знаком; большинство из них возвращается сейчас с работы, и если они услышат за дверью разговор, то почувствуют себя попросту вправе открыть дверь и посмотреть, что тут происходит. Так уж заведено. У людей за спиной целый рабочий день, кому же охота стеснять себя накануне вечерней свободы! Да вы и сами все это знаете. Так что позвольте мне закрыть дверь».

«Ну и что такого? Чего вы боитесь? По мне, так пусть хоть весь дом приходит. И повторяю: я уже закрыл дверь. Или вы думаете, что только вы умеете закрывать двери? Я закрыл ее даже на ключ».

«Ну, тогда все хорошо. Ничего больше я не хотел. А на ключ не надо было ее запирать. А теперь располагайтесь поудобнее, раз уж вы здесь. Вы мой гость. Можете полностью мне доверять. Устраивайтесь без боязни. Я не стану вас ни к чему принуждать — ни уходить, ни оставаться. Надо ли об этом упоминать? Разве вы не знаете меня достаточно хорошо?»

«Нет, об этом вы действительно могли не говорить. Более того, об этом вам не следовало говорить. Я ведь ребенок, к чему же все эти беспокойства?»

«Ничего страшного. Конечно, ребенок. Но ведь и не такой уж маленький. Вы ведь совсем уже выросли. Если бы вы были девочкой, вам нельзя было бы так вот запросто запираться со мной в одной комнате».

«Об этом нам нечего беспокоиться. Я хочу сказать: раз уж я так хорошо вас знаю, что, правда, ничуть не защищает меня, то мне можно ничего не выдумывать. А вы все же делаете мне комплименты. Оставьте это, заклинаю, оставьте. К тому же я не во всем и не всегда вас знаю, особенно в такой темноте. Было бы лучше, если б вы включили свет. Или нет, лучше не надо. Во всяком случае, я возьму на заметку, что вы мне уже угрожали».

«Что такое? Я вам угрожал? Господь с вами. Я так рад, что вы наконец-то пришли. Я говорю „наконец-то“, потому что уже так поздно. Не могу взять в толк, почему вы пришли так поздно. От радости я, может быть, путано выражаюсь, вот вы и неверно истолковали меня. А что я так говорил, я готов хоть сто раз признать, да, я действительно угрожал вам — всем, чем только можно. Не надо спорить, ради всего святого! Но как вы могли в это поверить? Как вы могли так обидеть меня? Зачем вам нужно отравлять мне радость от столь коротенького визита? Любой чужак был бы обходительнее, чем вы».

«Не сомневаюсь, тоже мне открытие. Я и так обходителен с вами, как любой чужак. Вы ведь об этом знаете, чего же кукситься? Только скажите, что вам захотелось разыграть комедию, и я сразу уйду».

«Ах так? И вы смеете мне это сказать? Вы слишком отважны. В конце-то концов, вы находитесь в моей комнате. И трете как сумасшедший о мою стену свои пальцы. Моя комната, моя стена! А кроме того, то, что вы говорите, просто смешно, а не только дерзко. Вы говорите, что предрасположены говорить со мной в таком тоне. В самом деле? Предрасположены? Очень мило со стороны вашего расположения. Вы ведь из того же теста, что я, и если я с вами любезен, то и вам не остается ничего другого».

«Это что — любезность?»

«Я говорю о том, что было раньше».

«А вы что, знаете, каким я буду потом?»

«Ничего я не знаю».

И я подошел к ночному столику и зажег на нем свечу. В то время у меня в комнате не было ни газа, ни электричества. Я еще посидел какое-то время за столиком, пока и это мне не надоело, затем надел пальто, взял с канапе шляпу и погасил свечу. Уходя, я споткнулся о ножку кресла.

На лестнице мне встретился квартирант с моего этажа.

«Что, опять уходите, бедолага?» — спросил он, обосновавшийся для устойчивости сразу на двух ступеньках.

«А что мне делать? — отвечал я. — У меня в комнате только что было привидение».

«Вы говорите это с такой брезгливостью, как будто отыскали волос у себя в супе».

«Хорошо вам шутить. Но имейте в виду: привидение есть привидение».

«Истинно так. Но каково тому, кто вообще не верит в привидения?»

«А вы что, думаете, я верю в привидения? Но что толку-то мне от моего неверия?»

«Очень просто. Если не верите, то и не испугаетесь, когда оно к вам придет».

«Да, но ведь этот страх пустяковый по сути. Настоящий страх — это страх перед причиной явления. И от этого страха никуда не деться. Его во мне целые горы». И я даже стал нервно обшаривать у себя все карманы.

«Но раз до его появления у вас не было страха, вы могли бы спокойно поинтересоваться причинами страха!»

«Должно быть, вам не приходилось иметь дело с призраками. Внятного ответа от них не добьешься. Одно лишь то ли так, то ли этак. Эти призраки, кажется, больше сомневаются в собственном существовании, чем мы, что и неудивительно при их-то неустойчивости».

«Но я слышал, что их можно приручить».

«Да, можно, тут вы правы. Но кто станет этим заниматься?»

«Почему нет? Если привидение, к примеру, женского пола», — сказал он, с трудом удерживая равновесие на ступеньке повыше.

«Разве что, — сказал я. — Но и тогда толку мало». Я огляделся. Мой собеседник был уже так высоко, что должен был пригнуться под сводом лестничной площадки. «И все-таки, — крикнул я, — если вы отнимете у меня там, наверху, мое привидение, то я порву с вами всякие отношения, причем навсегда».

«Но это же была шутка», — сказал он, убирая голову.

«Ну, тогда все в порядке», — сказал я. Собственно, теперь я уже мог идти на прогулку. Но поскольку я почувствовал себя так одиноко, то поднялся к себе наверх и лег спать.